

ВЛАДИМИР НИКИТАЕВ

Политическое как стратегия власти

Самое известное, переведенное на многие языки и не раз переизданное сочинение Карла Шмитта «Понятие политического» — сочинение, идеи которого можно встретить сегодня в самых разных политических течениях (например, в американском неоконсерватизме), — открывается *вопросом о государстве*.

«Понятие государства, — начинает свой текст Шмитт, — предполагает понятие политического. Согласно сегодняшнему словоупотреблению, государство есть политический статус народа, организованного в территориальной замкнутости. <...> Государство, по смыслу самого слова и по своей исторической явленности есть особого рода состояние народа, и именно такое состояние, которое в решающем случае оказывается главенствующим... Большого первоначально не скажешь. Оба признака, входящие в это представление: статус и народ, — получают смысл лишь благодаря более широкому признаку, то есть политическому...» [6, с. 37].

Шмитт обращает внимание на тот круг взаимоопределения или даже тождества государственного и политического, в котором движется как специальная юридическая, так и широкая правовая и социологическая мысль. Поэтому первое, что он считает необходимым сделать, — это постулировать разность политического, государственного и публичного (общественного), чтобы, задав понятие *политического* независимо, в качестве базового (категориального), определить затем понятие *государства* как политического единства и установить его соотношение с другого рода *публичными* объединениями, от профсоюза до человечества.

Вопрос о государстве, таким образом, служит *рамочным* для понятийной работы Шмитта, а потому, вникая в содержание понятия политического, этот рамочный вопрос нужно постоянно иметь в виду, по меньшей мере — «чувствовать затылком». Для тех, кто напряженно размышляет над проблематикой становления нового российского государства, это больше, чем стандартное требование герменевтики текста. Последние пятнадцать лет русской истории вынуждают нас жестко ставить вопросы о сущности политики, государства, власти, управления, права, общества и народа, о субординации этих понятий и соответствующей *практике мышления*. При этом наша

ситуация отчасти подобна той, над которой размышлял Шмитт, отчасти же ей противоположна. Противоположность, в частности, заключается в том, что пребывание Бориса Ельцина у власти (начиная с того момента, как он возглавил РСФСР) создало ситуацию, в которой и политическое и государственное разошлись едва ли не до предела, и сегодня *проблема* заключается уже не в том, чтобы теоретически их различить, но в том, чтобы найти формы их практического единства, добиться того, чтобы политика и администрирование были государственными по сути, а не только по названию. Государство как «политическое единство народа» в постперестроечный период отнюдь не оказалось *высшим единством* среди всех остальных — скорее наоборот. Короче говоря, есть достаточные основания, чтобы признать насущную важность указанных выше вопросов. Но и признавая важность вопросов о сущности политического, государственного и общественного, их (вопросы) возможно ставить в двух радикально различных модусах: «натуралистическом» и «деятельностном». Выступая с позиции деятельностного, практического подхода, мы не можем исходить из *естественного* существования и данности нам политического, но должны спрашивать, *как* оно создается, функционирует и воспроизводится.

О понятиях власти и политики

Вопрос о сущности власти с давних времен привлекал внимание мыслителей. Собственно, с этого вопроса, а именно с вопроса «Что есть архэ?» (которым, согласно преданию, впервые задался Анаксимандр), и началась философия. С тех пор было предложено немало концепций, известные изменения претерпела и практика власти. Тем не менее, анализ этих концепций и практик власти показывает, что в них есть нечто общее. Во всех случаях власть явно или неявно понимается как особого рода отношение, связанное с социальным или индивидуальным взаимодействием, причем «связь» эта выражается в том, что власть выступает в качестве своего рода *рамки*, в границах которой разворачиваются те или иные действия, процессы, события (например, событие победы «волящей воли» над «сопротивлением»). Иными словами властное отношение — это *метаотношение*, это всегда отношение как бы «после», «через» и «поверх» другого, *предметного* отношения между людьми (или иными субъектами). Например, если двое человек живут совместной жизнью и/или постоянно имеют какие-то общие дела, то это может стать основой власти одного из них над другим (или кого-то третьего — над ними обоими).

Метаотношение власти подобно рамке охватывает предметное отношение, доопределяет его, удерживает в этой определенности и само держится на этом. В любом виде власти всегда найдется такое предметное отношение, и наоборот: если между людьми (или иными субъектами) нет никаких невластных отношений, то нет и власти. В предельном случае власти — господства над рабом — таким предметным отношением служит специфическое отношение собственности, то есть основой для господства является превращение одного человека в собственность, «вещь» другого (быть может, даже добровольное). Для конституирования власти пригодны также отношения прича-

стности или соучастия в каком-то целом (вождь и масса), товарно-денежные отношения («власть денег»), отношения и процесс обучения (учитель и ученики), семейные отношения (глава семьи и домочадцы), отношения оргуправления и процесс коллективного действия или деятельности (руководитель и исполнители) и т.д. Попросту говоря, власть заключается в том, чтобы поставить людей на места данного предметного отношения и добиться их функционирования (поведения, работы и т.п.) в соответствии с требованиями этих мест столько времени, сколько будет определено инстанцией власти.

Важнейшим моментом понятия власти выступает различие между *властью порядка*, она же «власть формы», и «силовой властью», которую можно назвать также *властью воли*.

Власть порядка (формы) выражает себя в сохранении или, если мы имеем дело с процессом, постоянным воспроизведением некоторой определенности, идентичности чего-то. То есть возможно (в принципе), что нечто могло бы существовать иначе, но поскольку оно устойчиво существует именно таким образом и в таком виде и, более того, предполагается некая гарантия на будущее, — *то*, что обеспечивает и гарантирует именно такую форму (порядок), и есть (трактруется как) власть формы или порядка. Так, принадлежность индивида к некоторой реальной социальной группе или слою — например, крестьянской общине или «высшему обществу» — накладывает на него определенные ограничения, предполагает соблюдение определенных (пусть даже и неписаных) правил и норм поведения. Эти правила и нормы обязательны для любого, кто намерен входить в данную группу, их нарушение «автоматически» ставит его *вне* данной общности людей (эта логическая или моральная «автоматика», как правило, выражается или дублируется в социальной автоматике санкций: от морального порицания до остракизма). Это и есть власть порядка или формы; она *объективна* в том же смысле, в каком для индивида объективно существует та группа, в которую он желает или вынужден в силу обстоятельств входить. Люди, члены данной группы, с которыми он по поводу своей принадлежности (идентичности) контактирует, выступают, конечно, не как властители, но как персонификации данного сообщества и не более того; в том, что касается власти порядка, они только ее проводники и осуществляют её прежде всего тем, что сами следуют данному порядку. Этот порядок, как правило, не ими установлен и не зависит от их личного решения. Эта власть порядка обычно выступает для охваченных ею как само собой разумеющаяся, а потому, как «невидимая», и вообще редко обсуждается в качестве власти как таковой.

Власть воли конституируется и проявляется в ситуациях вроде господства-подчинения; а именно там, где есть личное решение и воля одного человека в отношении другого (других). Воля господствующего как бы накладывается поверх способности желания (воли) другого, предопределяя ее результирующее направление. Важно понимать здесь *границу между властью и насилем*. Насилие действует *непосредственно* на человека — на тело (прежде всего, на способность движения) или на психику (способность контролировать себя); власть — на душу и разум (способность принятия решения). Власть воли ставит человека в *ситуацию принятия решения* (выбора), маркирует, подчеркивает её именно как ситуацию и вынуждает подчиняющегося принять

такое решение, которое ей нужно, то есть как бы желать того же, что желает и она, воля; при всем том сама оставаясь свободной. Насилие, напротив, принуждает человека к определенному поведению тем, что разрушает возможную или актуальную ситуацию принятия решения (выбора): оно или вообще лишает подавляемого всякой альтернативы (вплоть до невозможности выбрать для себя такой крайний выход, как смерть), или задает несоизмеримые альтернативы (вроде пресловутого «кошелёк или жизнь»).

Власть формы и власть воли в реальной практике власти обычно сочетаются в некотором единстве; в частности, таким единством выступает «власть наказывать», которой Мишель Фуко посвятил книгу «Надзирать и наказывать» [5]¹. При этом отношения между ними напоминают *ортогональность* осей декартовой системы координат: власть воли прикладывается как бы ортогонально власти формы (то есть форме, поскольку она удерживает себя). Власть воли получает свою легитимность от власти формы, она либо действует таким образом, чтобы устранять социальные девиации, то есть приводить ситуацию к «норме», определенной законом и вообще правом (в том числе, обычаем), либо трансформирует одну форму, «старую», в другую, «новую», приятие (превращение в норму) или неприятие которой является решающим фактором легитимации данного действия власти воли.

Отсутствие инстанции, способной квалифицировать (дисквалифицировать) «человеческий материал», распределять (перераспределять) его по «местам» и удерживать в пределах этих мест (предписанной идентичности или «должностных обязанностей» в самом широком смысле слова), означает *дефицит власти*. В такой ситуации каждая из сторон предметного отношения претендует быть инстанцией власти (по меньшей мере, претендует свободно распоряжаться самой собой) и готова за это бороться. Разумеется, бороться не до такой степени, чтобы разрушить исходное предметное отношение, поскольку разрушение этого отношения делает бессмысленным сам вопрос о власти и политике, эвентуально выдвигая на повестку дня разрыв всех отношений, насилие и войну.

Политика — это искусство добиваться своего при дефиците власти; или, чуть иначе, — механизм, компенсирующий дефицит власти (см. [4]). Таков смысл всех понятий о политике. Вот, например, что пишет Макс Вебер:

«...“политика”, судя по всему, означает стремление к участию во власти и оказанию влияния на распределение власти, будь то между государствами, будь то внутри государства между группами людей, которые оно в себе заключает» ([1, с.646]).

Очевидно, что нет смысла стремиться к власти, если уже обладаешь ею во всей возможной полноте; еще более четко указывает на *дефицит власти* у

¹ Во «власти наказывать» оба типа власти сочетаются не только друг с другом, но и с насилием — однако, объект власти и объект насилия все равно *различны*; чему Фуко, выстраивающий свой дискурс в ориентации на *тело*, не уделяет должного внимания. Так, если дело касается практики публичных казней классической эпохи, то объект насилия — преступник, индивид (как целое), а объект власти — население (население города, которое специально собиралось для этого на площадь). При переходе к современности объект насилия — тело преступника, а объект, на который претендует власть, — его душа или то социальное, что есть в преступнике (следовательно, и социальное вообще).

любого из претендующих на нее субъектов возможность и необходимость ее «распределять»; точно так же, как и «интересы распределения, сохранения, смещения власти», которые Вебер указывает в качестве критерия для определения политического, осмысленны лишь в условиях ее дефицита.

Стратегия и политическое как стратегия

Понятие стратегии родилось, как известно, в военной сфере, во времена античности. В XX веке оно получило распространение еще в целом ряде областей человеческой деятельности (например, в менеджменте), в которых важно как-то овладеть, хотя бы в мышлении, *будущим*. Под «стратегическим» обычно подразумевают нечто рассчитанное на длительную перспективу, но в действительности тут важно не столько само время, сколько создаваемая им неопределенность — ведь и война отличается от всего, что делает человек (за исключением, быть может, азартных игр), именно своей неопределенностью и непредсказуемостью. Вряд ли что-то в этом мире способно создать такую неопределенность и непредсказуемость, как «человеческий фактор», поэтому как бы ни расширялось понятие стратегического — оно всегда ограничено сферой межчеловеческих действий и отношений.

Стратегия — это способ или искусство *управлять отношениями* с контрагентом (соперником, противником) в тех случаях, когда не представляется возможным (допустимым, рациональным, эффективным и т.п.) добиться своего «прямым» воздействием.

Каждому понятно, что значит управлять движением автомобиля, управлять *процессом*, но что значит «управлять отношением»?.. Чтобы ответить на данный вопрос, заметим, что отношения вообще складываются из всех тех действий сторон, которые они считают *эвентуальными*, то есть реально возможными при определенных обстоятельствах. В каждой ситуации взаимодействия, или в каждом ее «моменте», осуществляется только часть этих эвентуальных действий, но общая их совокупность составляет своего рода *background*, встраивающий производимые действия в некоторую перспективу (вообще говоря, разную для каждой из сторон). Трансформация этого множества *per se*, словно бы поверх самих «предметных» действий, то есть сужение или расширение «рамок», изменение распределения эвентуальности по спектру действий и прочее в этом роде — всё это вполне можно назвать «управлением отношением». Применительно к ситуации способность управлять отношением предстает как способность «ортогонального» воздействия на ситуацию, воздействия, при котором ситуация как бы отображается в (на) себя, *рефлектирует*, в гегелевском смысле рефлексии. В результате такого «отображения» в ситуации происходит *бинаризация* («двоение»). Одно выдается за другое: мистификация, маскировка, отвлекающий маневр и т.п.; одно действует или страдает вместо другого: действие «чужими руками», «жертва», «действие по внутренним линиям» и т.д.; обобщенно: одно *в функции* другого.

Как возможна такая бинаризация, «сдваивающее удвоение»? В ходе логической рефлексии ситуации образуется смысл, при рефлексии ситуации *в себя* — этот смысл «внедряется» и «вносит» в ситуацию специфическую топологию. Если брать ситуацию войны, то как бы поверх объективного ланд-

шафта «наносится» особый, смысловой рельеф, вынуждающий «подобную воде» войну (Сунь-цзы) течь в определенном направлении, принимать определенную форму. В ситуацию входит и начинает господствовать *функциональность*. Субстанциальность вещей словно испаряется, от нее остается только контур, к которому прикреплен функция: вещь *существует* ровно в той степени, в которой она способствует или препятствует реализации замысла. Теряет свою существенность и исчезает *историчность*: происхождение вещи или человека, прошлое, не имеет теперь само по себе никакого значения, а будущее интересно только как возможность продолжения или отклоняющей случайности. Стратег, для которого солдат есть нечто большее, чем функция убивать, и которого «субстанциальность» солдата (индивидуальность, физическое и моральное состояние) волнует не в связи с данной функцией, но сама по себе, — вряд ли добьется военных успехов.

В ситуации в результате «рефлексии в себя» появляются *симулякры*. Симулякр, как показывает Жиль Делёз, не есть некая вырожденная копия и никогда ею не был. В нашу эпоху симулякр «становится убежищем позитивной власти, которая отрицает оригинал и копию, модель и репрезентацию» [3, с. 235]. Иными словами, симулякр отрицает все эти различия и различения, лишает их значимости, то есть он *контрдифферентен*. При этом, поскольку ситуация вообще суть то, что понимается как ситуация² и представляет собой нераздельное единство «объективного» и «субъективного» (ибо сама она — до, прежде такого разделения), то ситуационный симулякр выступает как отрицание различия смысла и вещи, иллюзии и реальности и т.п., как склейка, позволяющая им беспрепятственно «обмениваться» друг на друга. Ввести в ситуацию, подсунуть, навязать противнику нужный тебе и послушный симулякр — значит уже почти победить.

Как минимум, два момента: (1) прагматика стратегии, то есть использование искусства стратегии только в тех случаях, когда по той или иной причине невозможно добиться победы «одним ударом», или, что суть то же, ситуация дефицита власти (в том числе и в результате ее «самоограничения правом»), и (2) «рефлексия в ситуацию» как общий принцип стратегического шага, — указывают на то, что мы оказались на территории *политического*. Даже в случае военных действий стратегия — политическое войны. И не только потому, что стратегия «замыкается» на политику, но и *по сути*. На это указывал, в частности, К. Клаузевиц в известной (хотя часто искажаемой) фразе про то, что «ведение войны в своих главных очертаниях есть сама политика, сменившая перо на меч».

Итак, и для стратегии, и для политики конститутивным моментом служит дефицит силы/власти. Еще более примечательна и интересна идентичность во втором моменте — «рефлексии в ситуацию». Начнем с известного тезиса Карла Шмитта:

«Специфическое политическое различие, к которому можно свести политические действия и мотивы, — это различие *друга и врага*» [6, с. 40].

² Конечно, это не значит, что в ситуации всё понятно или определено, отнюдь, но это означает, что непонимание как таковое обнаруживается и из «в себе» становится «для себя». К примеру, когда Сократ говорил: «Я знаю, что я ничего не знаю», то это означало, что его незнание превратилось для него в проблемную, или даже экзистенциальную, ситуацию.

Это различие и разделение, конечно же, — *рефлексивное*. «Непосредственным», на уровне восприятия, является — если вести речь о коллективах — *этническое* разделение, но и оно, сохраняя эту непосредственность (нерефлексивность), не способно продвинуться глубже разделения *свой/чужой*. Требуется еще некоторое усилие, которое «чужого» — или даже этнически «своего» — перевело бы в статус «врага». Эту «добавку», усиливающую религиозное, этническое, моральное или иное размежевание до политического, Шмитт определяет как реальную возможность борьбы (= войны), при этом

«...политическое заключено не в самой борьбе, которая опять-таки имеет свои собственные технические, психологические и военные законы, но... в определяемом этой реальной возможностью поведении, в ясном познании определяемой ею собственной ситуации и в задаче правильно различать друга и врага» (там же, с. 45).

Здесь все, начиная с «возможности», может быть дано только через рефлексию. Грубо говоря, кто-то должен «догадаться» и назвать конкретных *чужих* — «нашим врагом»; назвать и убедить в этом *своих*.

Различение друг/враг — не просто рефлексивное в традиционном, логическом смысле (то есть как факт субъективного сознания), это именно *рефлексия в ситуацию*. От того, что, например, лягушки сочтут мышей своими врагами, — ни политических отношений, ни войны между ними еще не случится; необходимо, чтобы мыши это приняли, чтобы, в свою очередь, признали в лягушках своих врагов. Если мыши этого не сделают, они будут просто, без войны, *истреблены* лягушками. Различение друг/враг только тогда становится *разделением*, когда принимается обеими сторонами и становится таким образом интересубъективным, то есть применительно к ситуации «объективным».

Различение-разделение друг/враг в трактовке Шмитта обладает довольно интересными чертами. С одной стороны,

«...политическое не означает никакой собственной предметной области, но только степень интенсивности ассоциации или диссоциации людей, мотивы которых могут быть религиозными, национальными (в этническом или в культурном смысле), хозяйственными...» (там же, сс. 45-46).

С другой стороны,

«Бытийственная предметность и самостоятельность политического проявляется уже в этой возможности отделить такого рода специфическую противоположность, как “друг/враг”, от других различений и понимать его как нечто самостоятельное» (там же, сс. 40-41).

С одной стороны, Шмитт утверждает, что понятия «друг», «враг» и «борьба» следует понимать в смысле «бытийственной изначальности»; с другой стороны — что это не означает, будто один определенный народ вечно будет другом или врагом другого определенного народа.

С одной стороны, эвентуальность войны только и конституирует политическое в его подлинной серьезности, а с другой — война есть чрезвычайный, *исключительный случай*, и политическое она утверждает именно через свою *возможность* (а не реальность).

В этих характеристиках политической оппозиции друг/враг, и особенно — в сочетании этих характеристик, нетрудно заметить, во-первых, черты *функциональности* понятия политического; во-вторых, *контрдифференциальность* функционального и субстанциального, возможного и действительного, а также различий между «предметными областями». Таким образом, эта оппозиция имеет природу *симулякра*, внутренняя «конститутивная несоизмеримость» (Делёз) которого обеспечивает или, вернее, сама является «соскальзыванием» рефлексивного, функционального — в бытийственное, субстанциальное. Полная формула *назначения* («bestimmen» Шмитта) кого-то врагом, во всех случаях так или иначе (пред)полагаемая, звучит как «Они — наши враги; они *всегда* были нашими врагами», нимало при этом не заботясь выяснить, действительно ли «они» *всегда* были врагами. Рефлексивный акт «назначения врагом» должен как бы раствориться, чтобы перед народом возник *враг* настоящий, враг по самой своей «природе», тот, кто самим своим существованием угрожает существованию данного народа. Тем не менее, совершая такие жесты политика никогда не идет и не строится в расчете на полное уничтожение врага. Подлинную, экзистенциальную реальность размежевание на друзей и врагов имеет только в случае смертельной борьбы, то есть войны, представляющей собой *иное* политического, от которого оно (политическое) получает свою значимость и смысл, но от «встречи» с которым уклоняется. Другими словами, политик принципиально ограничен рамками права, его удел — искать более или менее выгодный для себя компромисс (соглашение) и лишь изредка торжествовать «полную победу» в виде получения высшего поста, создания квалифицированного парламентского большинства и т.п. Только суверен, то есть тот, кто обладает *полнотой государственной власти*, может выйти за рамки права (см. [7]). В политическом плане это означает *принятие решения о войне* — как это и обсуждает Шмитт, доказывая исключительность государственности среди всех прочих форм объединения (см. [6, гл.5]). В случае такого решения вся *политика*, конечно, прекращается — по меньшей мере, внутри страны.

Итак, стратегия оказывается *политическим*, а политика — *стратегическим*. Не значит ли это, что *политика* (*политическое*) *есть некая стратегия*? Точно так же, как и война? То есть политика как способ избежать войны и война как инобытие политики — это просто две взаимодополняющих стратегии, одна из которых в ходе своего осуществления постоянно «имеет в виду» эвентуальность другой. Чьи же это стратегии, какая же реальность выражается и конституируется в этих взаимно отражающихся друг в друге отношениях?.. Ответ напрашивается сам собой: *реальность власти*.

Удивительно, но Шмитт, определяя свое понятие политического, практически не упоминает о власти, не говорит о ней «открытым текстом». Тем не менее, по существу своей концепции он, конечно, не может без нее обойтись. В самом деле, нетрудно понять, что в основе его трактовки политического — философия Гегеля. Не только там, где сам Шмитт ее упоминает (ссылается на «переход количества в качество», например), но на более глубинном уровне. Разделение на «друзей» и «врагов», конститутивная черта политического, — это, по сути, лишь политическая интерпретация рефлексивно-го раздвоения на противоположности, которые уже сам Гегель системати-

чески трактовал как антагонистические. Шмитт считал Гегеля *политическим философом* *par excellence*, а Гегель сказал о сущности власти, пожалуй, больше и глубже, чем Ницше или кто-либо еще. В известном месте предисловия к «Феноменологии духа», месте, в котором, как в оптическом фокусе, собраны все лучи философской системы Гегеля, говорится:

«Живая субстанция, далее, есть бытие, которое поистине есть *субъект* или, что то же самое, которое поистине есть действительное бытие лишь постольку, поскольку она есть движение самоутверждения, или поскольку она есть опосредствование становления себя иною. Субстанция как субъект есть чистая *простая негативность*, и именно поэтому она есть раздвоение простого, или противопоставляющее удвоение, которое опять-таки есть негация этого равнодушного различия и его противоположности; только это *восстанавливающееся* равенство или рефлексия в себя самое в инобытии, а не некоторое *первоначальное* единство как таковое или *непосредственное* единство как таковое, — есть то, что истинно. Оно есть становление себя самого, круг, который предполагает в качестве своей цели и имеет началом свой конец и который действителен только через свое осуществление и свой конец» [2, с. 9].

Если читать этот фрагмент под углом зрения логики власти, то получится примерно следующее: власть как тело действия (субстанция–субъект) не есть некая исходная (в объективно-логическом начале) самоотождественность, «непосредственное» «первоначальное единство» — ей необходимо состояться в этом качестве, то есть стать самой собой. Для этого власть вступает в политику или в войну, которые суть отрицание власти, поскольку она над ними *еще не властвует*; и только рефлектируя в себя в этом инобытии, «восстанавливаясь», власть достигает своей тотальности (целостности), реально становится такой, какой она была потенциально, в своей сущности. То есть происходит *субъективация власти*, в результате которой она приобретает свою «материальность», свой субъект.

Иными словами, власть, пребывая в состоянии неполноты или потенциальности (виртуальности), рефлектирует в ситуацию, создает в ней размежевание на «своих» и «врагов», чтобы затем «снять» это противостояние в своей собственной (власти) субъективации и усилении. Создавая такой антагонизм, власть тем самым придает себе в глазах противостоящих друг другу субъектов значимость решающего фактора. Уничтожение противника замещается борьбой с ним за власть, то есть за возможность признанного противником и всеми вообще доминирования (в этом признании заключается легитимность власти). Отсюда же вытекает необходимость усиления субъекта власти, поскольку противник не уничтожен, но всего лишь «отодвинут» и, не исключено, лелеет надежду изменить ситуацию. То есть противоположность в ином, «снятом», виде, но сохраняется, чтобы стать нервом реальной политики.

Политическое, субполитическое и политэкономическое

Что происходит сегодня с политическим? Целый ряд симптомов свидетельствуют о том, что наступил его упадок и оно деформируется, по меньшей мере в том, что касается столь важной для Шмитта связи политического и государственного. Так, существенно редуцировалась и подверглась метамор-

фозе возможность войны, как некоего предела, придававшего известную определенность политике. Война, во-первых, осуждена как таковая и почти вытеснена «гуманитарной интервенцией», а во-вторых, *jus belli* практически отчуждено на наднациональный (ООН) или ново-имперский (США) уровень. Государственно-политическое отступает под все усиливающимся давлением этнического и экономического.

В конце XX века вышла из культурно-исторической тени и получила беспрецедентный или, как минимум, давно невиданный размах и интенсивность область взаимоотношений этнических тел действия — область, которую можно назвать *этнотикой*. Это сфера *воли к власти*, но не власти как таковой (и вопросов ее распределения, сохранения и т.п.). Национальная государственность в свое время смогла подчинить себе этнотику, и даже почти элиминировала ее на своей территории (нерешенной проблемой во все времена оставались, разве что, один-два известных всем практически не ассимилирующихся этноса). Трудности иммиграции, культурная и расовая ассимиляция, приоритет гражданства над этничностью, а прав индивида над правами группы (этноса) — всё это до поры до времени нивелировало социокультурный плюрализм, разрушающий единство/солидарность «государственного народа». Государству более или менее удавалось избежать *этноплазии* — явления, наиболее ярким примером которого сегодня служит Косово³.

Постольку, поскольку политическое размежевание друг/враг имеет в подоснове своей этническое размежевание свой/чужой, можно сказать, что указанные процессы идут в слое инфраструктуры политического, образуя своего рода *субполитическое*. Эти отношения выходят на политический уровень преимущественно (или даже исключительно) тогда, когда формирующийся в некоем этносе новый «волящий власть» субъект наталкивается на сопротивление существующего субъекта власти. Причем существующему субъекту — имеющему источник субъективации в ином («титальном») этносе или вообще внеэтнический (гражданский) — *политизация*, как правило, невыгодна по ряду причин. Во-первых, трансформация различия свой/чужой в размежевание друг/враг неизбежно обостряет ситуацию. Во-вторых, политизация расширяет возможности для консолидации и диапазон действий «волящего» этноса, обеспечивает ему защиту со стороны права и «мирового общественного мнения». В-третьих, политизацию здесь практически невозможно различить от *национализма* (собственно, национализм и есть способ политизации этнического), причем неважно, идет ли она на государственном уровне или на чисто общественном; а национализм приобрел в прошлом веке дурную славу. Наконец, применение правительством разного рода ограничений или силовых мер квалифицируется «мировым общественным мнением», как *дискриминация* или даже геноцид, со всеми вытекающими отсюда (впрочем, не всегда, то есть не для всех) последствиями. Поэтому государственные органы власти предпочитают закрывать глаза на происходящее в этой области до тех пор, пока положение не становится совсем уже вопию-

³ В России подобные процессы идут на Северном Кавказе (равнинная Чечня — состоявшийся факт этноплазии, дошедшей до стадии геноцида русского населения), Дальнем Востоке и других местах.

шим и в стране начинает быстро расти число и накал межэтнических столкновений. Но даже и в этом случае власть — по указанным выше причинам — упорно пытается квалифицировать происходящее *юридически* (как уголовные правонарушения и преступления), а не политически. Таким образом, властный субъект сдерживает переход субполитического в политическое, поскольку это дает ему ряд преимуществ. Однако в этом кроется и опасность. Не имея возможности трансформироваться в политическое, субполитическое стремится обрести свою реальность за счет гражданского неповиновения и угрозы *террористических акций* (подобно тому, как политическое конституируется в эвентуальной перспективе войны), которая, как и всякая угроза, время от времени должна реализоваться.

Размышляя над связью политики и этнотики, можно заметить, что бурное размножение и рост субполитического свидетельствует об известной *узости* институционального политического. Достаточно заметить, что эпидемии субполитического случались прежде всего там, где внутригосударственная сфера политики была крайне неразвита или даже отсутствовала совсем (геополитический Юг, а также бывший СССР и Югославия). Отсюда следует, что наилучший, пожалуй, способ борьбы с эскалацией субполитического заключается в диверсификации и развитии внешнеэтнически ориентированного политического.

Обратимся теперь к взаимоотношениям политического и экономического. Карл Шмитт, полемизируя с Вальгером Ратенау, утверждавшим, что *уже не политика, но хозяйство является судьбой*, писал:

«Правильнее было бы сказать, что судьбой, как и прежде, остается политика, а новое появилось только то, что хозяйство стало политикой <Politikum>, и в силу этого — “судьбой”» [6, с. 67].

Шмитт вообще был убежден, что «точка политического может быть достигнута, исходя из хозяйства, как и всякой предметной области». На этом основании он определяет политическое через интенсивность *sui generis*. Вернемся еще раз к цитированному нами месту:

«...политическое не означает никакой собственной предметной области, но только степень *интенсивности* ассоциации или диссоциации людей, мотивы которых могут быть религиозными, национальными (...), хозяйственными или же мотивами иного рода...» (там же, с. 45-46).

За этим ходом мысли у Шмитта явно или неявно кроется гегелевская диалектика «перехода количества в качество», но в какой-то вульгарной трактовке, потому что упускается *момент рефлексии*. Переход количества в качество, или, иначе, одного качества в другое, — это переход *рефлексивный*, и если рефлексия не состоялась, то нет и никакого перехода. В частности, экономическое различие буржуазии и пролетариата не приводит к «классовой борьбе» (как об этом пишет Шмитт), пока пролетариат не «осознал свой классовый интерес». Этот тезис к тому времени, когда Шмитт писал свою статью, был уже не только теоретически сформулирован, но и доказан революционной практикой.

В действительности, существует *собственная область* политического, а именно — *государство*. Ведь и сам Шмитт, когда дело доходит до вопроса о разного рода «социальных единствах», будь то конфессии, профсоюзы и т.д., противопоставляет им всем *государство как политическое единство*. Причем

«То, что *государство* есть единство, и именно единство главенствующее, основывается на его политическом характере» (там же, с. 48).

Именно в государственном «единстве» политическое существует *аутентично*. Однако следует заметить, что непосредственность (нерефлексивность) политического здесь возможна только потому, что рефлексия *уже* осуществлена и само политическое есть результат этой конститутивной рефлексии в момент образования политического государства.

На самом деле у нас нет оснований пренебрегать своеобразием «предметных областей». Тем более, когда какая-то из них начинает играть роль *онтологии*, или, по меньшей мере, «центральной области», говоря словами самого Шмитта из другой его работы «Эпоха деполитизаций и нейтрализаций».

«Если какая-то область стала центральной, то проблемы других областей разрешаются, исходя именно из нее и уже считаются проблемами второразрядными, решение которых состоит само собой, если только будут решены проблемы центральной области. Так для теологической эпохи все получится само собой, если будет наведен порядок в теологических вопросах; все остальное тогда людям “приложится”. То же самое относится и к другой эпохе: во времена гуманитарно-моральные речь идет лишь о том, чтобы морально воспитать и образовать людей, все проблемы становятся проблемами воспитания; во времена экономические нужно только правильно разрешить проблему производства и распределения благ, а все моральные и социальные вопросы уже не будут представлять сложности; для чисто технического мышления новыми техническими изобретениями решается также экономическая проблема, а все вопросы, включая экономические, отступают на задний план перед задачей технического прогресса» [8, с. 50-51].

Таким образом, если «центральной областью» становится экономика, то должно произойти и переопределение основных «терминов» политики, и метаморфоза самого политического. Собственно, и Шмитт отмечает, что в условиях *либерализма* «война» заменяется, с одной стороны, на «конкуренцию», а с другой (этической) — на «дискуссию»; «враг» сменяется, соответственно, «конкурентом» и «оппонентом». Но если уже нет четкого различия войны и мира, а есть «вечная конкуренция и вечная дискуссия», то критерий «политического» плывет.

Политика (в строгом смысле) как стратегия основана на последовательной субъективации, потому что она имеет в виду *власть воли*, в частности и прежде всего — государственную власть управления. Экономические же стратегии рассчитывают на *асубъективность* рынка, на то, что рынком никто не владеет и не управляет монопольно. Иными словами, экономическая власть — это *власть формы*, это метаотношение, которое регулирует обмен, оно не субъективируется (поскольку тогда обмен превратился бы в экспроприацию) или субъективируется вторично и в иной области. Типичным образом экономическое фетишизируется в деньгах (монетах), и уже затем обладатель фетиша (достаточного количества монет, то есть богатства) может субъективироваться в качестве некоего властного лица. В высшей степени

примечательна та роль, которую в этой субъективации играет *право собственности*. Она показывает, что превращение экономического во властно-волевое возможно только в более широких, чем экономика, рамках. Из истории известно, что исходно право собственности существует как одна из компонент правящей власти, права суверена, и лишь затем, после более или менее кровавой борьбы (вплоть до социальной революции), отчуждается в некое самостоятельное «священное» право. Прилагательное «священное» точно указывает на связь права собственности с изначально священным *правом править*, присущим таким фигурам власти, как вождь-маг, царь-жрец и священный монарх. Самостоятельное, институциональное право собственности, таким образом, открывает экономическому дверь в мир политического и вносит в него некое «вторично политическое». Заимствуя почтенный (хотя и не однозначный) термин, это продолжение или проекцию экономического в политическое можно было бы назвать *политэкономическим*. Для характеристики нужного нам здесь смысла политэкономического хорошо подходит известная формула В.И. Ленина: «политика есть самое концентрированное выражение экономики...», если при этом учитывать, что «концентрированное выражение экономики» — это уже не экономика как таковая.

Политическое есть стратегия власти воли. Волевым порядком в сфере истинно политического устанавливается оппозиция друг/враг; эта оппозиция, взятая как целое, представляет собой, как мы видели, своего рода симулякр. Политэкономическое, растущее на почве экономического и заинтересованное только в перераспределении и приращении богатства, *превращает в симулякр само политическое*. Здесь уже окончательно испарился экзистенциальный смысл врага и друга — осталась только *игра* в друзей и врагов, нередко «игра на публику», ведущаяся в пространстве масс-медиа и моментально прекращаемая за пределами ток-шоу и тому подобных виртуальных площадок. В этом смысле политэкономическое, как политическое «вторичным образом», чем-то напоминает «осетрину второй свежести» из известного романа Михаила Булгакова.

Симулякр политэкономического контрдифферентен оппозиции политического и экономического. Отсюда, в частности, проистекает бесплодность и практическая бессмысленность попыток разгадать, что же было «истинной причиной» того или иного действия — будь оно политическое или даже военное. В самом деле, для чего США сколотили коалицию и оккупировали Ирак? Была ли на то экономическая причина — нефть, или же политическая — имперские притязания?.. Ответить на этот вопрос не сможет никто — просто потому, что «истинной причины» (в указанном смысле) вообще не было. И не может быть! И тот, и другой род причин в равной степени и был, и не был истинным. Таковы сумерки, в которые политэкономическое погрузило нашу эпоху. Экономическое не способно само по себе отменить, вытеснить или заменить собой политическое (тут Шмитт, безусловно, прав)⁴, однако, оно способно растворить его в политэкономическом.

⁴ Точно так же и *техническое* не способно отменить, вытеснить или заменить собой политическое и экономическое.

Политическое, субполитическое и политэкономическое настолько сложно переплелись в наше время, образовали такую причудливую амальгаму, что это ставит гуманитарное мышление в крайне сложную проблемную ситуацию, вынуждает нас в поисках выхода обращаться к наследию самых разных политических мыслителей, среди которых Карл Шмитт, конечно, занимает далеко не последнее место.

Литература

1. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
2. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. СПб., 1994.
3. Делёз Ж. Платон и симулякр // Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции XX века. Томск, 1998.
4. Никитаев В.В. Повестка дня для России: власть, политика, демократия // Логос. № 2. 2004.
5. Фуко М. Надзирать и наказывать (Рождение тюрьмы). М., 1999.
6. Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. Т.1. №1, 1992.
7. Шмитт К. Политическая теология. М., 2000.
8. Шмитт К. Эпоха деполитизаций и нейтрализаций // Социологическое обозрение. Том 1. № 2. 2001.